

**Джозеф Хеллер**

**Что-то случилось**

Москва  
Книга по Требованию

УДК 82-3  
ББК 84

**Джозеф Хеллер**

что-то случилось / Джозеф Хеллер – М.: Книга по Требованию, 2011. – 358 с.

**ISBN 978-5-458-05110-1**

Роман «Что-то случилось» принес Джозефу Хеллеру не меньший успех, чем ставшая знаменитой «Поправка-22».

Построенный в форме развернутого монолога героя, подводящего итоги своей жизни, прожитой в погоне за миражами, роман затрагивает многие наболевшие вопросы современной Америки, да и вообще западного общества.

**ISBN 978-5-458-05110-1**

© Издание на русском языке, оформление, «  
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «  
Книга по Требованию», 2011

Джозеф Хеллер  
Что-то случилось



## У меня поджилки трясутся

У меня поджилки трясутся при виде закрытой двери. Даже на службе, где дела у меня сейчас идут очень недурно, и то – иной раз увижу закрытую дверь, и сразу страх берет: наверняка за нею происходит что-нибудь ужасное, что-нибудь такое, от чего мне не поздоровится; если всю ночь врал и изворачивался, или пил, или забавлялся в постели, или просто нервы развинтились и одолела бессонница и приходишь усталый и подавленный, так прямо и чуешь, как там, невидимые за матовыми стеклами, собираются тучи и сейчас над моей головой разразится гроза. Бывает, даже руки вспотеют, и говорить начинаю не своим голосом. Отчего бы это?

Должно быть, когда-то со мной что-то случилось.

Может, я стал бояться дверей, стал бояться открывать двери и не доверять закрытым дверям с того далекого дня, когда у меня заболело горло, поднялась температура и неожиданно вернулся домой и застал мать с отцом в постели. А может, я стал таким оттого, что в детстве, в конце детства, осознал, что мы бедны. А может, это случилось в день, когда умер отец и я почувствовал себя виноватым и опозоренным: мне казалось, я единственный мальчишка на свете, у которого нет отца. А может, всему виной, что я рано понял: не бывать мне широкоплечим, с могучими бицепсами, не сподобиться стать таким, как положено, таким высоким, сильным, мужественным, чтобы выйти в футболисты американской сборной или в чемпионы по боксу, – понял печальную, не оставляющую надежды истину, что, чем бы я ни занимался, всегда поблизости найдется кто-то, кто преуспеет в этом куда больше меня. А может, это случилось в тот день, когда я не вовремя вломился еще в одну дверь и увидел свою старшую сестру нагишом – она стояла на белом кафельном полу ванной и вытиралась полотенцем. Она заорала на меня, хотя прекрасно знала, что сама виновата: не заперлась, вот я на нее и налетел. Я тогда испугался.

Помню также – теперь вспоминать даже забавно, уж очень давно это было, – однажды в жаркий летний день забрел я в угольный сарай за нашим многоквартирным домом красного кирпича и вижу: на полу лежит мой старший брат с младшей сестренкой Билли Фостера, а ей всего-то было столько лет, сколько мне, тощенькая такая, мы с ней в одном классе учились. В сарае я хотел отбить колеса и оси от сломанной детской коляски, которую подобрал на помойке, и надеялся приспособить их к тележке, что задумал смастерить из корзины для дынь и длинной толстой доски. Вошел я в темный сарай и сразу ощутил какое-то неясное, торопливое ворожение, будто наступил на что-то живое. Пахло пылью. Я вдруг испугался. Потом увидел: на полу лежит мой брат, а с ним еще кто-то – в смутной тени, сгустившейся в углу, было не разобрать, – и меня отпустило, я улыбнулся. Страх прошел.

– Привет, Эдди. Это ты, Эдди? – сказал я. – Чего это ты тут делаешь, Эдди?

А он как закричит:

– Мотай отсюда, сопляк! – И запустил в меня куском угля.

Я охнул, на глаза навернулись слезы, кинулся вон. Выскочил на курящийся, яркий солнечный свет, беспомощно заметался по дорожке перед нашим домом и никак не мог взять в толк, что же это я сделал, почему старший брат так на

меня разозлился, даже обругал и запустил куском угля. Как же теперь быть — удрать или обождать? Таким я себя чувствовал виноватым — не убежишь, а остьяться и принять наказание тоже страшно, наказание-то я, конечно, заслужил, а за что, непонятно. Не в силах ни на что решиться, я в испуге топтался на дорожке перед домом, но вот наконец со скрипом отворилась огромная деревянная дверь старого сарая и из зияющей тьмы медленно выступили они оба. Брат самодовольно шагал позади девчонки. Увидел меня, улыбнулся, и мне полегчало. И только теперь я заметил, что девчонка эта — высокая и тощая сестренка Билли Фостера, у нее почерк был хорош, а с правописанием, географией и арифметикой она была не в ладах, хоть и старалась выехать на подсказках. Очень я удивился, когда увидел их вместе: я и не думал, что брат ее знает. Она шла, опустив глаза, присыпалась, будто не видит меня. Приближались они медленно. Время тянулось долго. Брат подмигнул мне через ее голову и с эдакой нарочитой лихостью поддернул штаны. Шел он вразвалочку, такой важный, никогда он прежде так не задавался, не понравилось мне это. Совсем он был на себя не похож, мне даже стало не по себе. Но все равно я так был ему благодарен, что он мне подмигнул, даже затрепыхался от радости и невольно стал глупо хихикать. От облегчения у меня прямо голова пошла кругом, и я затараторил:

— Эй, Эдди! Чего это ты там делал, Эдди? Чего-нибудь там случилось?

А он засмеялся и говорит:

— Вот это верно, кой-что случилось. А, Джеральдина? — И с довольной ухмылкой игриво толкнул ее локтем в бок.

Джеральдина отскочила от него, по лицу ее промелькнула сердитая досадливая улыбка, и, не поднимая глаз, она прошла мимо нас обоих. Когда она скрылась, брат сказал:

— Матери не говори.

Он знал: раз он просит, я ни почем не скажу.

Позднее, когда я уже мог мысленно представить все то несуразное, торопливо-неловкое, горячее и жадное, что, наверно, произошло между ними на полу сарая, когда стал задумываться об этом (я и по сей день вспоминаю тот случай, когда оглядываюсь на прошлое и даю волю воображению, а теперь это бывает все чаще и чаще), я поразился и едва не высказал вслух свое изумление: с чего мой брат, уже совсем большой, для такого дела выбрал тощеньку сестренку Билли Фостера, ведь она была даже на несколько месяцев моложе меня, и зубы лошадиные, и совсем даже не хорошенъкая.

Тогда мне столько еще всего хотелось узнать про то, чем они занимались на полу в сарае, но спросить у брата я не решался, хотя вообще-то он был мягкий, отзывчивый и всегда, до самой своей смерти, относился ко мне по-хорошему.

Теперь же столько всего есть на свете, про что мне совсем не хочется узнавать. Лучше, к примеру, не знать, в какие именно игры играют в компаниях, куда ходит по вечерам моя подрастающая дочь, какие сигареты там курят, какие цветные шарики нюхают или глотают. Когда появляются полицейские машины, я не хочу знать, что их привело сюда, хотя радуюсь, что они прибыли, и надеюсь, они прибыли вовремя, чтобы сделать то, ради чего явились. Когда приезжает «скорая помощь», я предпочитаю не знать, за кем она. И когда утонет ребенок, или задохнется во время пожара, или попадет под машину или под поезд, я не хочу знать, чей это ребенок, — а вдруг мой...

Подобную же неприязнь мне внушают больницы, с такой же опаской и брезгливостью отношусь я к своим знакомым, которые заболевают. Я стараюсь не навещать больного в больнице, если только можно этого избежать: ведь там всегда рискуешь отворить дверь палаты и увидеть что-нибудь страшное, к чему никак не готов. (Никогда не забуду, какой ужас я испытал в больнице, когда впервые увидел резиновый зонд, пропущенный в ноздрю, на которой еще виднелась запекшаяся кровь. Он был желтовато-коричневый, этот зонд, и полупрозрачный.) Когда у кого-нибудь из друзей, родных или сослуживцев случается сердечный приступ, я не спрашиваю о них по телефону в больнице – вдруг скажут, что человек этот умер. Я стараюсь не заговаривать с женой или с детьми больного – сперва ищу способ удостовериться через кого-то, кто с ними уже говорил, что больному не стало хуже. Это иногда осложняет мои отношения с людьми (даже с собственной женой – она вечно спрашивает у всех, как они себя чувствуют, ходит по больницам и непременно что-нибудь привозит больным), но я не обращаю на это внимания. Все равно не хочу я разговаривать ни с кем, у кого больны и, может быть, умирают муж, отец, жена, мать или ребенок, даже если умирающий мне далеко не безразличен. Я не хочу знать, что кто-то, с кем я знаком, умер.

Правда, однажды (ха-ха), когда один мой знакомый в самом деле умер, я взял себя в руки, собрался с духом и, прикинувшись, будто ничего не знаю, в тот же день позвонил в больницу и спросился о нем. Мне любопытно было: хотелось испытать, что я почувствую, когда больница ответит, что человек, которого я знал, умер. Интересно, как об этом сообщают; мысль эта занимала меня и даже приятно щекотала воображение. Как они скажут – умер, скончался, испустил дух, преставился или, быть может, кончился? (Как подписка на журнал или старый библиотечный абонемент?) Женщина, ответившая по телефону, удивила меня. Она сказала:

– Мистер… уже не числится среди наших пациентов.

Для этого звонка потребовалось мужество, да-да, все мое мужество. И когда я повесил трубку, оказалось, я дрожу как осиновый лист. Сердце мое взволнованно и радостно билось, ведь я буквально был на волоске; когда я начал набирать номер, когда с губ моих сорвался первый звук, я воображал, будто женщине, отвечавшей по больничному телефону, доподлинно известно, что у меня на уме: она отлично видит, кто там на другом конце провода, читает мои мысли – и так прямо и скажет. Она не сказала. Она ответила так, как ей было велено отвечать в подобных случаях, и я остался безнаказанным. (Или это отвечал автомат?) И мне никогда не забыть, сколь тактичен был ответ:

– Мистер… уже не числится среди наших пациентов.

Мистер… умер. Его уже нет в живых. Мистер… уже не числится среди пациентов, и три дня спустя мне пришло пойти на его похороны.

Ненавижу похороны, всем сердцем ненавижу похороны, что-то в них всегда есть противоестественное, и я как могу избегаю похорон (особенно своих собственных, ха-ха). Когда же все-таки вынужден пойти на похороны, стараюсь ни с кем не разговаривать, просто пожимаю руки и делаю скорбное лицо. Изредка что-то невнятно бормочу и всегда стою с опущенными глазами, как ведут себя обычно в фильмах. Ничего другого себе позволить не могу: я себе не доверяю. Ведь я понятия не имею, что следует говорить, когда кто-то умирает, боюсь – что

ни скажу, все окажется некстати. Я вообще теперь не доверяю себе, когда попадаю в переплет и либо не знаю, чем это кончится, либо ничего не в силах изменить. Мне не по себе, даже когда я меняю пробку или электрическую лампочку.

Что-то и вправду со мной случилось, лишило меня уверенности и мужества, вселило в меня боязнь нового, боязнь всяких перемен и самый настоящий ужас перед всем неизвестным, что может произойти. Я не люблю все непредвиденное. Если без моего ведома переставляют мебель, хоть на волос (даже в моем служебном кабинете), для меня это как пощечина или удар в спину. Не люблю ничего нечаянного. Всякого рода сюрпризы злят меня и обижают; даже от тех сюрпризов, которые затеяны, чтобы порадовать меня и развлечь, остается свинцовый привкус горечи и жалости к самому себе, ощущение, что против меня что-то замышляли, меня использовали ради чьего-то удовольствия, что-то скрывали, говаривались за моей спиной. (Я не из тех, с кем легко жить.) Я не выношу скор (со всеми, кроме моих домашних). Изо дня в день происходит множество мелких столкновений, с которыми я просто не в силах справляться, они отчаянно меня мучают и унижают: трения с рабочим, который что-нибудь чинит в квартире и делает это кое-как или обсчитывает меня, или недоразумения с каким-нибудь безучастно уклончивым служащим телефонной компании, которому жалуются, что плохо работает телефон. (Уж лучше пусть меня обсчитывают.) Или когда у нас появились мыши – еще до того, как я стал работать в нашей Фирме, лучше зарабатывать и переселился из города в собственный дом в Коннектикуте (который я ненавижу).

Я понятия не имел, как быть с мышами. Я ни разу их не видел. Их видела наша прислуга или только так говорила, и один раз показалось жене, будто она видела мышь, и один раз то же самое показалось теще. А потом мыши исчезли. Взяли да ушли. Перестали появляться. Я даже не уверен, были ли они вообще. Мы перестали про них говорить – и они сгинули, словно их вовсе и не было. Судя по всем заслуживающим доверия рассказам, то были мышата, и проникали они к нам, должно быть, через решетку, которой забраны были батареи. Поскольку сам я мышей не видел и не слышал, я относился к ним вполне терпимо, хотя нередко замечал, что прислушиваюсь, и порой мне казалось, будто и вправду их слышу. Но жену они приводили в трепет, она жила в вечном страхе. Под конец потребовала, чтобы я что-то предпринял.

И вот каждый вечер мне приходилось ставить мышеловки. И каждое утро открывать кладовки, шкафы, заглядывать за диваны, за кровати, за стоящие по углам кресла, никогда не зная, какой там меня поджидает неприятный сюрприз, с чего начнется мой сегодняшний день, а жена и дети с опаской заглядывали мне через плечо. И даже если ничего неожиданного не случалось, это тоже было пугающей неожиданностью. Противно, что все семейство ходит за мной по пятам и так поглощено и встревожено происходящим: ведь двое моих детей очень нервны и неустойчивы и уже и без того достаточно напуганы. Еще один мой сын – умственно неполноценный и ничего не понимает. И даже в ту пору я, пожалуй, не настолько любил свое семейство, чтобы мне приятна была его близость в столь напряженные и трудные для меня минуты.

Я открывал двери, проверял мышеловки, заглядывал за мебель, за плиту, за холодильник и никогда не знал, что увижу. Я боялся, что в мышеловку попалась мышь, что она окажется дохлая и мне придется ее вытаскивать. Боялся, что ни

одна мышь не попалась и что каждый вечер и каждое утро надо будет проходить через мерзкую церемонию – ставить и проверять мышеловки – опять и опять, без конца. Однако больше всего меня страшило, что я открою дверь кухни, а в темном углу притаилась мышь, только и ждет, чтоб я ее заметил, и тут же – скок мимо меня, прямо под толстым, свернутым в трубку журналом – моим оружием, который я держу наготове в потном кулаке. О Господи, вдруг это случится! Вдруг это случится, и надо будет заставить себя стукнуть ее что есть мочи? Волей-неволей надо будет размахнуться и с одного удара прикончить ее, но, конечно же, мне это не удастся, я ее только покалечу. И вот она лежит передо мной, пытается встать на свои разбитые, переломанные лапы, а мне хочешь не хочешь надо снова замахнуться тяжелым журналом и опять ударить раз, другой, может быть, даже третий, пока не забью ее до смерти.

При мысли, что за каждой дверью, которую я отворял по утрам, может оказаться живая мышь, меня трясло и мучило. Не оттого, что я боялся мышей (уж не настолько я глуп), просто я знал – уж если увижу ее, придется что-то предпринять.

## На службе

У меня на службе есть пять человек, которых я боюсь. Каждый из этих пяти боится четверых (каждый – своих). Итого выходит двадцать, и каждый из этих двадцати боится шестерых, итого сто двадцать, которых опасается по крайней мере один человек. Каждый из этих ста двадцати боится остальных ста девятнадцати, и каждый из этих ста сорока пяти боится двенадцати, стоящих во главе, которые основали и создали Фирму, а теперь владеют и управляют ею.

Все двенадцать – уже пожилые люди, время и успех их деятельности и честолюбивых устремлений выпили из них все жизненные соки. У многих здесь прошла вся жизнь. Когда встречаешь их в коридорах, кажется – это люди дружелюбные, неторопливые и удовлетворенные (они похожи на мертвцев), и, когда едут вместе с другими в общем лифте, они учтивы и безмолвны. Напряженная работа осталась для них позади. Они проводят совещания, повышают подчиненных в должности и позволяют пользоваться своим именем для различных сообщений, которые составляются и произносятся другими. Теперь уже никто (даже те, кто считается заправилами) толком не знает, кто же в действительности управляет делами Фирмы, но дела Фирмы идут. Иногда эти двенадцать, стоящие во главе, некоторое время выполняют задания правительства. Похоже, они и не стремятся делать больше того, что делают. Двое из них знают, чем я занимаюсь, и узнают меня, потому что з прошлом я им помогал, и они столь добры, что запомнили меня, хотя имени моего, конечно, не помнят. При встрече со мной они неизменно улыбаются и говорят: «Как поживаете?» (Я неизменно киваю в ответ и отвечаю: «Прекрасно».) С двенадцатью, стоящими во главе, я почти не сталкиваюсь по работе, и встречаюсь с ними тоже не часто, и поэтому, можно сказать, не боюсь их. Но их боятся почти все те, кого боюсь я.

В нашей Фирме каждый служащий боится какого-нибудь другого служащего, и иногда мне кажется, я все тот же затюканый парнишка, что работал давным-давно в Компании по страхованию автомобилей от несчастных случаев – сортировал и подшивал отчеты об автомобильных авариях в отделе, которым заведовала миссис Йергер, каждый Божий день грозившая всем нас уволить. Была она крупная, самонадеянная, властная и ехидно-любезная женщина, неколебимо упорная в своих пристрастиях и предубеждениях. Самая старшая из девушек отдела, насмешливая, со злым язычком Вирджиния, сидела под большими стенным часами и обменивалась со мной непристойными шутками; она была бойкая, беззастенчивая, всегда смеялась и подтрунивала (по крайней мере надо мной), а я был тогда слишком молод и туп и не понимал, что это не просто шутки. (Боже милостивый, сколько раз она говорила, чтобы я подыскал для нас с ней где-нибудь комнату, а я даже не знал, как это делается! Она была на редкость хорошенъкая, хотя тогда я, кажется, так не думал, но все равно она мне уж до того нравилась, прямо в жар бросало. Несколько годами раньше ее отец покончил с собой.) В той Компании много происходило всякого, о чем я тоже не имел ни малейшего понятия. (Вирджиния сама рассказывала мне, как один страховой инспектор, женатый человек, однажды вечером пригласил ее покататься в своей машине, а по дороге начал к ней приставать, грозился либо изнасиловать ее, либо высадить у кладбища и утихомирился, только когда она сделала вид,

будто сейчас закричит.) Помню, в той Компании я тоже боялся отворять двери, даже если кто-то из юристов или инспекторов посыпал меня за важными документами или за сандвичем. Я никогда не знал, то ли постучаться, то ли войти без стука, постучать почтительно или достаточно громко, чтобы меня сразу услышали и велели войти. В любом случае меня часто встречали сердито или с досадой. (А может, так мне казалось. То ли я возвращался слишком скоро, то ли слишком поздно.)

Миссис Йергер всех нас ругала почем зря. Вскоре почти все ее подчиненные уволились: иные, кто постарше, ушли в армию или на флот, остальные подыскали работу получше. Я нашел себе работу, которая оказалась еще хуже. Нелегко мне было набраться храбрости, чтобы заявить об уходе, и так со мной бывало всегда. (Много дней подряд я репетировал речь, которую при этом произнесу, собираясь с силами и готовил внушительные лицемерные доводы в оправдание своего бегства, но ни миссис Йергер, ни кто другой не поинтересовалась, почему я ухожу.) Мне всегда не по себе, когда приходится иметь дело с начальством, когда надо зайти к нему, и смотреть ему прямо в глаза, и смело, вызывающе с ним разговаривать, – даже если я уверен, что прав и ничто мне не грозит. (Мне никогда не удается уверить себя, что мне и вправду ничего не грозит.) Я ему просто-напросто не доверяю.

Это была моя первая служба после того, как я окончил среднюю школу (или меня дотянули до ее окончания). Мне тогда исполнилось семнадцать, а Вирджинии, той «старшей», злозычной, кокетливой девочонке, что сидела под стенным часами, всего двадцать один (теперь такая была бы слишком молода даже на мой вкус), и, где я с тех пор ни служил, я всегда боялся, что меня вот-вот уволят. Между тем меня не увольняли ни разу; наоборот, щедро прибавляли жалованье и быстро повышали в должности, потому что обычно я очень сметлив (поначалу) и мигом все схватываю. Но ощущение несостоенности, гнетущее предчувствие неминуемого провала и громогласного позора не отпускает меня и теперь, когда я хорошо, надежно устроен и стараюсь не наживать врагов. Я ведь все равно не могу доподлинно знать, что происходит за закрытыми дверями всех отделов на всех этажах, где сидят служащие нашей и всех прочих фирм всего света, которые намеренно или случайно каким-то словом или поступком могут меня погубить. Временами я даже мучаю себя зловещими домыслами, будто ЦРУ, ФБР или Управление налогов и сборов годами тайно следит за мной и не сегодня-завтра арестует – только за то, что в душе я кое в чем сочувствую либералам и голосую обычно за демократов.

Мне чудится, будто кто-то из окружающих вскоре узнает что-то обо мне – и тут-то мне конец, хотя, что это за роковой секрет, ума не приложу.

В обычные рабочие дни я опасаюсь Грина, а Грин меня. Я опасаюсь Грина, потому что мой отдел – часть его отдела и Джек Грин – мой начальник; Грин опасается меня, потому что мой отдел больше работает на Торговый отдел, который важнее отдела Грина, и я куда ближе, чем он, к Энди Кейглу и другим работникам Торгового отдела.

На Грина нападают приступы недоверия ко мне. Порой он дает мне понять, что желает просматривать все материалы, выходящие из моего отдела, до того, как они попадают в другие отделы. Но это одни слова, вовсе он этого не хочет. У него своей работы по горло, где уж ему следить еще и за моей, и чаще всего я

предпочитаю его обходить, не отнимать у него время и не задерживать передачу материалов тем, кому они срочно нужны (или так им кажется). Большая часть работы, ведущейся в моем отделе, в конечном счете особой ценности не представляет. Но всякий раз, как кто-нибудь из другого отдела хвалит что-нибудь, сделанное в моем отделе, Грина охватывает тревога. Если он не видел этих материалов или не слышал о них, он багровеет от гнева и смятения. (Если же он их видел и не помнит, он раздражается ничуть не меньше.)

В Торговом отделе меня любят (или делают вид, будто любят). А Грина – нет. Он это знает. Они жалуются мне на него и отпускают на его счет нелестные замечания, и это он тоже знает. А делает вид, будто не знает. Притворяется равнодушным, потому что и сам недолюбливает тех, кто сидит в Торговом отделе. Я их тоже недолюбливаю (но разыгрываю дружелюбие). Обычно Грин не дает себе труда ладить с сотрудниками Торгового отдела и держится подчеркнуто отчужденно и надменно. Но неприязнь, которую он в них возбуждает, тревожит его. Его мучительно тревожит мысль, что в ближайшее время администрация отберет у него мой отдел и передаст его Торговому отделу. Грин тревожится из-за этого уже восемнадцать лет.

В моем отделе шестеро сотрудников боятся меня и одна маленькая секретарша боится нас всех. Есть у меня еще один сотрудник, который не боится никого, даже меня, и я с радостью в два счета его уволил бы, но я сам его боюсь.

Мне часто приходит в голову, что всякие рассыльные, посыльные, делопроизводители и прочие мелкие служащие любого возраста, должно быть, боятся в Фирме решительно всех, и есть в нашем отделе машинистка, которая медленно сходит с ума, и потому все мы боимся ее.

Зовут ее Марта. И больше всего нас пугает, что она окончательно спятит в рабочий день, в рабочие часы. Уж лучше бы ей сойти с ума в субботу или воскресенье – не у нас на глазах. Пока не поздно, надо бы от нее избавиться. Но мы этого не сделаем. Кому-нибудь следовало бы ее уволить, но никто не хочет брать это на себя. Даже Грин, обычно увольняющий сотрудников с удовольствием, уклоняется от ответственного шага, который ее окончательно погубит, хотя он не выносит ее, просто видеть не может, и всякое напоминание, что она все еще работает под его началом, приводит его в ярость. (Именно он нанял ее после беглой беседы, по настоятельной рекомендации сотрудницы Управления персоналом, которая ведает набором машинисток.) Как и все мы, он старается делать вид, будто ее здесь нет.

Мы наблюдаем за ней, и ждем, и крадемся мимо, и спрашиваем себя, когда же наступит тот последний, решительный миг – и она окончательно спятит: заизжит или замкнется в молчании, станет бешеной или безмятежной, сообразит, что помешалась и потому ее должны увезти отсюда, или ничего не поймет, перепугается, растеряется.

Как ни странно, на службе она чувствует себя лучше всех нас. Она уносится мыслями в какие-то более приятные места, и улыбается, и что-то благодушно шепчет, и глядит поверх машинки на голую стену перед самым носом, забывая, кто она и где, не помня про страницу, которую ей положено печатать. Если можно, мы отходим подальше или поворачиваемся спиной и стараемся ничего не замечать. И всякий раз каждый надеется, что кто-нибудь другой что-то сделает или скажет, от чего она перестанет улыбаться и разговаривать сама с собой.